

СОДЕРЖАНИЕ

№ 110 (2011)

НОВАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ПОЭЗИЯ

ТАТЬЯНА 7 Абecedарий отчаяния
БОНЧ-ОСМОЛОВСКАЯ

ВРЕМЕНА ФИЛОЛОГИИ

13 От редактора
СЕРГЕЙ КОЗЛОВ 15 Осень филологии

ДЕСЯТЬ ОТЗЫВОВ НА СТАТЬЮ СЕРГЕЯ КОЗЛОВА

СЕРГЕЙ УШАКИН 23 «Осень, доползем ли, долетим ли
до рассвета?»

ТАТЬЯНА ВЕНЕДИКТОВА 27 Осенняя эстетика. И прагматика

НИКОЛАЙ ПОСЕЛЯГИН 29 Заметки переходного периода об
«Осени филологии»

КОНСТАНТИН 33 *Melius sperare*
А. БОГДАНОВ

КЕВИН М. Ф. ПЛАТТ 34 Катакомбы филологии
(пер. с англ. А. Маркова)

ПАВЕЛ УВАРОВ 37 Чертеж на песке: *Рассуждения*
о тексте Сергея Козлова

МИХАИЛ ВЕЛИЖЕВ 41 «Филология — царица наук?»
Заметки к теме

МАКСИМ ВАЛЬДШТЕЙН 45 Осень «филологии», или Редукция
сложности гуманитарного сообщества
(*Заметки постороннего*)

БОРИС ДУБИН 53 И снова о филологии

МИХАИЛ ЯМПОЛЬСКИЙ 59 Без большой теории?

СЕРГЕЙ КОЗЛОВ 84 Приоритеты и менталитеты

Ключевые слова: филология, гуманитарные науки, актуальность, методологический рынок, методологический эклектизм

Сергей Козлов

ОСЕНЬ ФИЛОЛОГИИ

Предупреждение автора. *Этот текст не был задуман как манифест; я бы никогда не стал специально писать никаких манифестов. Текст был написан как реакция на программу совершенно конкретного обсуждения, в котором меня пригласили поучаствовать. Темой этого семинара был выставлен вопрос: «Остается ли филология “царицей” гуманитарных наук?»¹*

Я хотел бы начать с критики некоторых пунктов предложенной нам повестки. Критику в данном случае следует понимать как выявление границ применимости или адекватности тех или иных пресуппозиций. Первое, что здесь бросается в глаза, — это чрезвычайно нестрогое употребление понятия «филология». В тексте программы, предложенной для обсуждения, филология по умолчанию включает в себя такие различные и во многом противостоявшие друг другу исследовательские практики, как 1) собственно филология; 2) лингвистика; 3) семиотика; 4) постструктуралистская теория текста. Только такое максимально расширительное понимание филологии и делает возможным исходную пресуппозицию о филологии как некоей королеве Виктории гуманитарных наук. Если бы нам был предложен тезис о филологии как об историческом фундаменте гуманитарных наук, я бы ничего не имел против — но нам предложен тезис о филологии как издавна, неизменно и, видимо, на всех морях господствовавшей методологической парадигме, а с таким тезисом согласиться трудно. Чтобы не быть голословным, приведу пример Франции. Если в первой половине XX века самой влиятельной дисциплиной филологического цикла здесь было сравнительно-историческое языкознание, то во второй половине XX века самой влиятельной дисциплиной филологического цикла стала структурная лингвистика. Между тем, сравнительно-историческое языкознание и структурная лингвистика — это два взаимодополнительных подхода к языку: если сравнительно-историческое языкознание видит в языке прежде всего диахронию, то структурная лингвистика видит в языке прежде всего синхронию. Соответственно, методологические импульсы, которые каждая из этих дисциплин посылает в пространство гуманитарных наук, совершенно различны: не даром в 1960-х годах расхожим упреком в адрес структурализма было то, что структурализм отрицает историю. Мы можем обсуждать большую или меньшую оправданность этого упрека, но очевидно, что он появился не на пустом месте. Между тем, сколь бы мы ни расширяли объем и тем самым ни упрощали содержание понятия «филология», очевидно, что, начиная по крайней мере с эпохи Кватроченто, никакая филология не может быть аисторичной. Структурная лингвистика является дисциплиной филологического цикла, но это самая антифилологичная из всех дисциплин филологического цикла: напомним между прочим, что «Курс» Соссюра начинается с подчеркивания различий между лингвистикой и филологией. Тогда о каком царстве филологии в

1 «Круглый стол» на тему «Остается ли филология “царицей” гуманитарных наук» прошел 4 апреля 2011 г. в Высшей школе экономики. См. отчет А. Плещкова: <http://www.hse.ru/news/recent/29050041.html>.

1960-е годы может идти речь? Но этого мало. Если уж применять политические метафоры, то приходится сказать, что на всем протяжении XX века гуманитарные науки во Франции существовали в условиях методологической диархии, а то и полиархии: влияние одной из дисциплин филологического цикла постоянно перекрещивалось с не менее, а, как правило, более сильным влиянием одной или двух дисциплин социологического и философского циклов: в первой половине XX века самым мощным было влияние дюркгеймианской социологии, во второй половине XX века наиболее широким влиянием пользовались анналистская историография, эпистемология Фуко и социология Бурдьё. Так что реальная картина методологической конъюнктуры во Франции XX века не имеет почти ничего общего с тезисом о филологии как «царице» гуманитарных наук. Как мне представляется, говорить о филологии как о «царице» гуманитарных наук можно лишь в применении к небольшому числу ситуаций, ограниченных в пространстве и во времени. А значит, и вопрос о том, остается ли филология «царицей» вышеупомянутых наук, опасно приближается к вопросу о том, продолжаете ли вы пить коньяк по утрам.

Второй аспект предложенной повестки, который я хотел бы подвергнуть критике, касается самого понятия методологической конъюнктуры. Ведь, в сущности, именно ее, методологическую конъюнктуру, нам предлагается обсуждать как единственно релевантный параметр, свидетельствующий не только о состоянии гуманитарных наук в целом, но, видимо, и о состоянии дел внутри отдельных дисциплин (в данном случае — дисциплин филологических). Каковы котировки данной дисциплины на сегодняшнем общегуманитарном рынке и каковы котировки разных методологических подходов на внутреннем рынке самой этой дисциплины? Формулируя тот же самый вопрос с помощью другого метафорического кода — что носят в этом сезоне? Когда я сближаю подобный язык разговора о науке с языком фондового рынка и с языком моды, я уже затрудняюсь определить, к чему я, собственно, прибегаю: к метафорам или к метонимиям? Что перед нами — сближение по сходству или сближение по смежности? Напомню очевидные лексические факты: понятие «актуальность» сегодня равно принадлежит и языку методологических обзоров, и языку моды, а понятие «тренд» (или, говоря по-старорежимному, «тенденция») является центральным для всех трех вышеуказанных дискурсов. Спрашивается: насколько адекватно такой разговор о науке (назову его «дискурсом методологической актуальности») описывает реальную жизнь науки?

Надо сказать, что иногда сами ученые-гуманитарии мыслят работу свою и своих коллег в категориях методологической актуальности. Я вспоминаю, например, оценку, которую в частном разговоре со мной один крупный лингвист дал другому крупному лингвисту (цитирую с согласия собеседника). Он сказал: «Этот человек был призван стать директором большого дома моделей». Здесь важна не только отсылка к миру моды, но и упоминание о директорстве. Дело в том, что дискурс методологической актуальности порождается в первую очередь не практикующими исследователями, а организаторами науки либо же — и это важная оговорка — практикующими исследователями, когда они выступают в роли организаторов науки: мне и самому отчасти довелось выступать в этой роли, пусть она и была очень скромна. Если бы я и сейчас выступал в качестве заведующего чем-нибудь научным, я бы, вероятно, *ex officio* по-прежнему рассуждал бы об актуальных научных направлениях. Но я сейчас выступаю в качестве простого филолога-практика. Так вот, с точки зрения филолога-практика, дискурс методологической ак-

туальности — это дискурс не научных сообществ, а научных институций: издательств, институтов, академий, фондов, журналов, университетов, научных центров, высших аттестационных комиссий. Понятие «методологической актуальности» нужно всем этим организациям для выполнения своих непосредственных функций: оно используется ими для разметки подведомственного им научного поля и для распределения ресурсов.

Для большинства же сколько-нибудь талантливых филологов-практиков дискурс методологической актуальности — не более чем динарий кесаря. Это дань, которую практикующие исследователи покорно платят своим начальникам, грантодателям и вообще внешнему миру, — платят за то, чтобы им оставляли возможность заниматься любимым делом. Соотношение мира методологической актуальности с миром филологов-практиков было довольно точно предсказано Ильфом и Петровым в начале 9-й главы «Золотого теленка»:

Параллельно большому миру, в котором живут большие люди и большие вещи, существует маленький мир с маленькими людьми и маленькими вещами. <...> В большом мире людьми двигает стремление облагодетельствовать человечество. Маленький мир далек от таких высоких материй. У его обитателей стремление одно — как-нибудь прожить, не испытывая чувства голода.

Маленькие люди торопятся за большими. Они понимают, что должны быть созвучны эпохе и только тогда их товарец может найти сбыт².

Последняя фраза идеально подходит для характеристики отношения филологов-практиков к актуальным трендам. Однако подобное деление на две группы присуще не только филологам. В равной мере оно свойственно и сообществу историков. процитирую начало рецензии П.Ю. Уварова на книгу Н.Е. Копосова «Как думают историки»:

[Историки] бывают разные. Одни изучают то, как работают историки, как они работали или как им следует работать. Мы классифицируем их как эпистемологов, историографов и методологов. Эта группа растущая и весьма успешная. <...> Другой вид историков по старинке пытается писать историю по источникам. Делают они это без особого успеха (как убеждают их вышеназванные коллеги), положение их не блестящее, да и численность убывает. <...> К представителям первой группы они питают чувства, сопоставимые с отношением оперативника к сотруднику прокурорского надзора или с отношением комиссара Мегре к судебному следователю Камелио³.

По своему психологическому содержанию противостояние «методологов» и «практиков» у Уварова разительно напоминает отношения «больших людей» и «маленьких людей», описанные Ильфом и Петровым. Обратите внимание: первую группу историков Уваров называет просто «эпистемологами» или «методологами». Конечно, в природе встречаются профессиональные методологи, не занимающие руководящих должностей. Уваров не ставит прямо вопроса об иерархической позиции, которую занимает эта группа в социальном процессе производства научного знания, — однако юмористические уподобления, к которым прибегает Уваров, ясно свидетельствуют, что в его глазах разница между первой и второй группой — это разница между исполнителями и работниками контролирующими инстанций. И, хотя Уваров в своей

2 Ильф И., Петров Е. Золотой теленок / Комментар. Ю.К. Щеглова. М., 1995. С. 87.

3 Уваров П.Ю. [Рец. на кн.:] Копосов Н.Е. Как думают историки. М.: НЛЮ, 2001 // Критическая масса. 2002. № 1. С. 116.

рецензии всячески подчеркивает, что Копосов в прошлом прекрасно проявил себя как историк-практик, невозможно не вспомнить, что к моменту написания рецензируемой книги Копосов был крупным научным администратором.

Но если не критериями методологической актуальности, то какими мотивациями руководствуются исследователи-практики (Уваров называет эту группу «практикующими историками») при выборе тем и способов исследования? Это слишком большой вопрос, от которого нельзя отделаться беглым ответом. Поэтому я предлагаю отнестись сейчас к этим мотивациям как к большому черному ящику, отметив лишь одно: эти мотивации, как правило, обусловлены, с одной стороны, обнаружением неисследованного материала, а с другой стороны, спонтанным влечением ученого, осмысляемым через дихотомию «интересного» и «скучного». Разумеется, на опознание «интересного» и «скучного» в огромной степени влияют идеология и социальные переживания исследователя — на которые, в свою очередь, влияет разного рода злоба дня; но мы сейчас не будем говорить об этом подробно. Нам важно лишь одно следствие из всего вышесказанного: эти мотивации, как субъективного, так и объективного свойства, в существенной мере имеют непредсказуемый характер. Исследователь может написать для упомянутых выше контролирующих и распределяющих инстанций научную заявку, план своей научной работы на более или менее долгосрочную перспективу, но он не может сделать так, чтобы этот план в точности совпал с реальным содержанием его работы. Каждому участнику нашей дискуссии, я думаю, известны примеры того, как человек собирает материал для одной книги, а пишет в результате другую.

Отсюда — мое критическое отношение к еще одному аспекту предложенной нам повестки. Я имею в виду звучащий в ней запрос на прогнозирование тематической и методологической конъюнктуры: «Что будут носить в следующем сезоне?» О непредсказуемости как отличительной черте развития литературоведения выразительно писала еще в 1927 году Л.Я. Гинзбург:

Мирное академическое процветание науки о литературе оказывается невозможным. Последнее десятилетие показало, что теоретические и исторические проблемы литературоведения недолговечны. Эта недолговечность казалась нам признаком ненаучности <...> Но что делать — всякие попытки выращивать в тиши заготовленные лет десять тому назад вопросы срывались в невыразимую скуку. Вместо мирного развития наука о литературе оказывалась все же предназначенной к прерывистому росту, торопливому и раздробленному, как короткометражный монтаж.

Она не могла развиваться сама из себя, требовались внешние толчки и скрещивания с другими рядами⁴.

Мне кажется, подобная непредсказуемость свойственна не только литературоведению, но гуманитарным наукам в целом. Сопоставим с цитатой из Лидии Гинзбург цитату из Карло Гинзбурга. Он описывает ситуацию во французской исторической науке 1970-х годов:

Леруа Ладюри, сперва заявивший, что французская историографическая школа, основанная Блоком и Февром, обязана принять американский вызов и перейти к компьютерным исследованиям, опубликовал затем «Монтайо»: осуществленное «вручную» исследование об одной отдельно взятой средневековой деревне, в которой жило двести человек, — и эта книга имела большой успех. Фюре обратился к политической истории и истории идей —

⁴ Гинзбург Л. Записи 1920—1930-х годов // Гинзбург Л. Человек за письменным столом. Л., 1989. С. 35.

то есть к темам, которые он сам ранее квалифицировал как внутренне несовместимые с «серийной историей». Вопросы, считавшиеся периферийными, стали перескакивать в центр дисциплины, а вопросы, считавшиеся центральными, вдруг стали уходить на периферию⁵.

Из всего этого, как мне кажется, нельзя не сделать вывод о том, что прогнозировать развитие гуманитарных наук — дело заведомо обреченное; это действительно чертежи на песке.

Теперь, оговорив всю опасность разговоров о некоей «филологии вообще», всю условность разговоров о методологической конъюнктуре и всю невозможность прогнозировать развитие гуманитарных наук, — я тем не менее вернусь к «филологии вообще» и к вопросу о методологии, а в завершение скажу два слова о перспективах. Но я постараюсь учитывать все ранее сформулированные ограничения, и это, надеюсь, поможет мне удержать мои соображения в рамках чуть большей корректности.

Мне кажется совершенно справедливым исходный тезис предложенной нам повестки: в поле знания о языке и литературе сегодня нет господствующей парадигмы, в этом поле представлен разнородный набор исследовательских практик и традиций, и при этом кризисные диагнозы состояния филологии становятся все более редкими. На мой взгляд, все вышеперечисленные факты обусловлены тем, что филология вошла в стадию, которую я бы назвал «стадией остывания». Это остывание наиболее заметно проявляется в отношении сегодняшнего филологического сознания к вопросам методологии.

Отличительным признаком прежнего состояния филологии были методологические войны. Эти методологические войны кончались по-разному, но велись они, как правило, с подлинной страстью. Методологические войны предполагали жесткую принадлежность исследователя к определенной научной школе, а принадлежность эта опиралась, в свою очередь, на устойчивую конфигурацию ролевых отношений «учитель — ученик». Не буду сейчас говорить обо всем «человеческом, слишком человеческом», что всегда присутствовало в жизни научных школ и, соответственно, в методологических войнах; важнее подчеркнуть предполагавшийся всеми этими войнами боевой дух, связанный с тем, что можно назвать «научной верой». Чтобы пояснить специфический характер «научной веры», снова процитирую Л.Я. Гинзбург (эта запись тоже относится к 1927 году):

Меня страшит не то, что мы скрещиваемся то с социологией, то с идеологией, но то, что мы стали что-то слишком умны и что-то слишком много понимаем. Мне все мерещится, что именно наука должна быть глуповата, вернее, немного подслеповата и однобока. Чего бы стоил Шкловский, если бы он в 1916 году все знал, все чувствовал, все видел. <...> Обзавестись же теоретически широкими горизонтами и всеприятием не в пример легче, чем сконструировать и использовать систему плодотворных односторонностей⁶.

Эти плодотворные односторонности, эти подслеповатость и однобокость лежали в основе функционирования научных школ в науках филологического цикла начиная, как минимум, с 20-х годов XIX века и вплоть, скажем, до 80-х годов XX века (верхнюю границу здесь провести трудно из-за того, что она расположена слишком близко к нам). Подобный ход развития науки —

5 Гинзбург К. Микроистория: две-три вещи, которые я о ней знаю // Гинзбург К. Мифы — эмблемы — приметы. М.: Новое издательство, 2004. С. 297.

6 Гинзбург Л.Я. Цит. соч. С. 54—55.

через ошибку взаимоисключающих утверждений, претендующих на общезначимость, — воспринимался, в сущности, как единственно возможный. Тынянов в свое время сказал, что принцип литературной эволюции — борьба и смена⁷. Принципом научной эволюции в филологии была борьба и смена методологических односторонностей. Можно перечислить множество интеллектуальных факторов разной степени исторической удаленности и важности, работавших на поддержание подобного режима интеллектуальной жизни: от религиозного принципа «credo, quia absurdum», от традиции диспутов как базовой практики европейских университетов — до гегелевской диалектики и до физики XX века с ее требованием безумных теорий.

Между тем сегодня мы, филологи, живем в совершенно другом интеллектуальном климате. Хорошее представление об этом климате дает книга Антуана Компаньона «Демон теории», изданная во Франции в 1998 году и появившаяся на русском языке стараниями С.Н. Зенкина и И.М. Савельевой в 2001 году. Мне кажется, что это замечательная книга — замечательная именно своей связью с духом современности. Книга Компаньона имеет красноречивый подзаголовок «Литература и здравый смысл». Она посвящена тем взаимоисключающим односторонностям, которые лежали в основе методологической платформы различных литературоведческих школ прошлого. Эти односторонности сгруппированы Компаньоном вокруг семи центральных тем литературоведения: литература, автор, внешний мир, читатель, стиль, история, ценность. Смысл книги Компаньона состоит в том, что все рассматриваемые им теории в равной степени имеют свою обусловленность, свою ограниченную правоту и свою относительную применимость, но все они, каждая по-своему, искажают реальность. Компаньон выступает против «миллой сердцу литературоведов насильственно бинарной, террористической, манихейской логики», которая «задает драматические альтернативы и заставляет нас биться об стену и сражаться с ветряными мельницами», тогда как литература, пишет Компаньон, — «это как раз область промежутка»⁸.

То, что мы видим у Компаньона, — это именно «теоретически широкие горизонты и всеприятие», которых восемьдесят лет назад так боялась Л.Я. Гинзбург. Говоря в терминах Гинзбург, Антуан Компаньон «стал что-то слишком умен и что-то слишком много понимает».

Когда, прочитав Компаньона, я оглядываюсь на себя и на свою референтную группу, я вижу у нас почти то же самое — эволюцию к «теоретически широким горизонтам» и, если не ко «всеприятию», то к «многоприятию» («всеприятия» все-таки нет). Здесь я позволю себе вернуться к вопросу об эволюции сообщества русских филологов-русистов, связанных с тартуской школой. Мне уже приходилось касаться этого вопроса пятнадцать лет назад в «НЛО», на «круглом столе» «Философия филологии»⁹. Я говорил тогда о процессе утраты методологической чистоты, начавшемся в 1980-х годах: сейчас хотел бы вернуться к этой теме под несколько иным углом зрения. Вся эта эволюция была очень сильно обусловлена опытом работы (а впоследствии — и учебы) на Западе. Перечислю некоторые вехи. Раннее всего была подвергнута сомнению необходимость выбора между формалистами и Бахтиным: здесь важнейшую роль сыграли работы Б.М. Гаспарова. Тогда же была сломана перегородка между

7 Тынянов Ю.Н. Литературный факт [1924] // Тынянов Ю.Н. Поэтика. История литературы. Кино. М., 1977. С. 258.

8 Компаньон А. Демон теории: Литература и здравый смысл / Пер. С.Н. Зенкина. М., 2001. С. 162.

9 См.: Философия филологии // НЛО. 1996. № 17. С. 51—54.

филологией и философией: здесь главную роль играла деятельность А.М. Пятитгорского и И.П. Смирнова. Затем в работах В.М. Живова стал происходить переход от жестких семиотических схем тартуской школы к осмыслению русской истории в духе Элиаса и позднего Фуко. И, наконец, в 1990-х годах началось наведение мостов между поэтикой и социологией литературы.

Это был, если угодно, переход от методологических войн к методологическому миру. Прочитую характерный эпизод, сохранившийся для истории Кириллом Роговым: в июле 1992 года В.М. Гаспаров, «возражая на Тыняновских чтениях (!) А.К. Жолковскому, апеллирует к критике формализма, развернутой Волошиновым (!), и на по м и н а е т, что нельзя игнорировать содержательное (интенциональное?) измерение текста. Последовавшая на это “улыбающаяся” реплика Г.А. Левинтона: “Тогда за что боролись, если нельзя игнорировать?!” — была, конечно, не призывом к “чистоте метода”, а именно указанием на этот удивительный и характерный ренессанс “школьной” дискуссии»¹⁰. Мне кажется, реплика убежденного структуралиста Левинтона и его улыбка указывали на его смешанные чувства, вызванные удивительной наступившей эпохой открытия границ, — границ как государственных, так и методологических.

Но еще точнее будет сказать, что на смену методологическим войнам пришел не методологический мир, а методологический рынок. Если раньше поле филологических наук представляло собой арену противоборствующих школ, то теперь оно превратилось в выставку самых разнообразных методологических подходов, накопленных за последнее столетие и равно доступных для употребления. Главной задачей в сфере методологии стала задача выбора; главным требованием — требование адекватности данному материалу. Что до необходимых аналитических инструментов, то они становятся все более обозримыми, все легче находимыми и все легче достигаемыми благодаря Сети: были бы финансовые ресурсы для доступа к ним.

Особенности этой новой ситуации наиболее широко проявляются в работе наиболее одаренных представителей младшего поколения отечественных филологов-русистов — поколения тридцатилетних (старшим из них чуть перевалило за сорок). Я имею в виду таких филологов, как Михаил Гронас, Михаил Велижев и Кирилл Осповат. Общие для их работ отличительные черты — это всегда глубокая методологическая фундированность и свободный переход от одной исследовательской парадигмы к другой — в зависимости от требований материала. У Гронаса это может быть социология Бурдьё и когнитивная лингвистика, у Велижева — разные изводы истории понятий, у Осповата-младшего — поздний формализм, социология Элиаса и Бурдьё. Важно то, что у всех них преобладает чисто инструментальное отношение к методу: главное, что их интересует, — это история культуры. Интерес к тексту здесь неотрывен от интереса к истории (в полном соответствии с базовыми установками, характерными для филологии в узком смысле слова начиная с XV века). В отношении к методу все они проявляют себя как релятивисты и плюралисты. Та же методологическая открытость прослеживается, как мне кажется, в работах Марии Майофис. Аналогичный подход к методу был продемонстрирован Александром Дмитриевым и Яном Левченко в их большой совместной статье «Наука

¹⁰ Рогов К. Русский П., или Апология одной научной квази-традиции // НЛЮ. 1992. № 1. С. 357 (пунктуационные и шрифтовые выделения принадлежат автору). Эта замечательная своей концептуальностью статья остается, по моему мнению, одним из важных документов истории русской филологии 1990-х годов.

как прием»¹¹. Из старших поколений я могу назвать только одного исследователя, у которого все вышеперечисленные черты выражаются не менее, а даже более ярко и убедительно: это Виктор Живов.

Резюмируя, выделю два главных момента, определяющих научную позицию, которую я только что попытался описать. Первый момент состоит в примате истории над теорией и, соответственно, материала над методом. Метод здесь подбирается для каждого случая отдельно, в зависимости от материала. Метод принципиален и отрефлексирован, но вторичен. Он претерпевает здесь, если угодно, некую позитивистскую модуляцию. Второй момент: решающую роль начинает играть вопрос об адекватности метода данному материалу, о продуктивности метода в данном конкретном случае. Между тем вопрос об адекватности и продуктивности здесь не имеет объективного решения: то, что кажется наиболее продуктивным одному исследователю, покажется не самым продуктивным другому. Вопрос об адекватности решается поэтому дважды: в самом конце — на основе коллективного мнения экспертов, и в самом начале — на основе личной интуиции исследователя. И эта спрятанная в глубине изначальная решающая роль интуиции неожиданным образом сближает описываемую мной научную позицию с той концепцией филологии как личного искусства, которая была принята у величайших филологов-классиков до наступления позитивистского периода и которая стала возвращаться в филологию по мере завершения названного периода.

В заключение — постараемся взглянуть на эту ситуацию с высоты птичьего полета.

Лидия Яковлевна Гинзбург, несомненно, сказала бы, что это ситуация эпигонства и эклектизма. И была бы права. Надо только учитывать, что привычное всем нам уничижительное значение слов «эпигонство» и «эклектизм» было изобретено совсем незадолго до Лидии Яковлевны. Мы привыкли называть «эпигонами» бездарных подражателей, но изначальное слово «эпигон» значило всего лишь «рожденный после». Это констатация места в цепи поколений, ничего не говорящая о талантах и достижениях данного человека. Точно так же мы привыкли называть эклектикой беспринципное сочетание разносистемных элементов, но изначальное эклектизм — это всего лишь умение выбирать нужные элементы из различных систем; Дидро восхвалял эклектизм, противопоставляя его догматизму (который Гинзбург воспевала под именем «плодотворной односторонности»). Подчеркну очевидное: речь сегодня идет вовсе не о каком-то неслыханном синтезе всех методологических подходов, изобретенных ранее; такой синтез как раз и был бы дурным эклектизмом. Речь идет об умении выбрать из множества предзаданных подходов вариант, наиболее продуктивный в данном случае, или построить продуктивную для данного случая комбинацию из нескольких подходов.

Каждая историческая ситуация несет в себе свои шансы, свои ограничения и свои риски. Наша сегодняшняя задача, как мне кажется, состоит в том, чтобы достойно воспользоваться возможностями эпигонства и эклектизма, постоянно и осознанно избегая тех опасностей, которые эпигонство и эклектизм в себе таят. Если уж мы не можем избежать сближения филологии с рынком и с модой, постараемся по крайней мере не следовать покорно за актуальными трендами, а быть искушенными и умными эклектиками — то есть придерживаться строго продуманных, строго индивидуальных и внутренне независимых решений.

11 *Дмитриев А., Левченко Я.* Наука как прием: еще раз о методологическом наследии русского формализма // НЛО. 2001. № 50. С. 195–245.